

Вероника Мургия

АУЛІЯ



Истории в истории

Вероника Мургия

Аулия

«Самокат»

2021

Мургия В.

Аулия / В. Мургия — «Самокат», 2021 — (Истории в истории)

ISBN 978-5-00167-431-3

В далеком средневековье, во времена Халифата, в затерянной в песках Сахары деревушке жила хромая девочка. И был у нее дар – предсказывать дождь. Местные боялись Аулию, замуж выйти ей было не суждено. Так бы и провела она всю жизнь, разговаривая с козами и скорпионами, если бы однажды не прискакал в селение всадник в обгоревшем бурнусе. Он был из другого мира, где женщины покрывают лицо, а дворцы доходят до неба. Любовь, поселившаяся в сердце Аулии, подарила ей мечту. В поисках ее Аулия отправляется в странствие, где ей грозят хищники, неволя и гибель. Сказки тысячи и одной ночи становятся роковой явью, и преодолеть их в одиночку может грозить потерей жизни... или потерей себя. Вероника Мургия – мексиканская писательница, по образованию историк и художник, создала галерею сильных и необычных женских персонажей. В Аулии мотивы из восточных сказок переплетаются в роман и обретают прямой психологический смысл. В 2022 году Мургия была номинирована на международную литературную премию памяти Астрид Линдгрэн (ALMA).

ISBN 978-5-00167-431-3

© Мургия В., 2021

© Самокат, 2021

Содержание

Аулия	6
Деревня	11
Абу аль-Хакум	17
Джинны	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Вероника Мургия

Аулия

Посвящается Умберто дель Ольмо

© Verónica Murguía, 2021

© Горбова Е. В., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом «Самокат», 2022



Аулия

...а из известных миру целебных вод лучшими, как говорят, являются воды источника Джиневеры. Шести капель этой воды, нанесенных на грудь, достаточно, чтобы возрадовался пребывающий в великой тоске. И всего лишь две капли – по одной в каждый глаз – способны даровать страждущему от бессонницы полный волшебных и счастливых видений сон.

Хассан Бадреддин. Путеводитель по городам чудес

– Нет, нет, рано еще... – пробормотала на своей лежанке девочка, разбуженная утренними звуками: родители уже встали и разводили в очаге огонь. И, не в силах разлепить веки, с головой забралась под одеяло. Но и там настиг ее суровый голос отца.

– Аулия, пора. Вставай!

В доме пахло хлебом и мятным чаем. Единственным источником света служил красный огонь, озарявший лицо Лейлы, матери Аулии.

Девочка потеряла виски. Ей снилось что-то хорошее. Хотелось закрыть глаза и тут же вернуться в сновидение, где она чувствовала себя совершенно счастливой – хотя потом, проснувшись, не могла припомнить отчего. Сонная и угрюмая, она завернулась в одеяло и села. Мать подошла к ней с горячим чаем. Аулия приняла из ее рук простую глиняную чашку и, держа в ладонях, отпила глоток. Потом встала налить еще, потом еще раз – ведь, прежде чем что-то съесть или заговорить, надо выпить три чашки. Она подогрела на жаровне одну пшеничную лепешку, а другую положила в котомку. Нехотя прожевала и проглотила пресный хлеб и, припадая на одну ногу и опираясь на посох, вышла за порог. От предрассветного холодка кожа сразу покрылась мурашками. Девочка опустилась на колени, развернувшись на *киблу* – к востоку, а потом медленными движениями, будто умываясь, обтерла руки и голову, как принято в пустыне у правоверных. Прижалась лбом к холодному, как лед, песку и принялась молиться.

Затем встала и, плотнее запахнув халат, направилась в загон для скота – доить коз. Похлопала скотинку по теплым бокам, чтобы та помочилась, и обмыла руки под остро пахнущей горячей струей. И уже чистыми пальцами взялась за козьи соски, твердые со сна.

– Рассвет еще не скоро, – прошептала она, глянув на белые точки звезд меж тонких веточек тамариска.

Молоко стекало в лоханку, пена ползла через край. Девочка наполнила бурдюк, вошла в хижину, молча отдала бурдюк матери и погнала из загона свое маленькое стадо. Петухи еще спали.

Аулия хромала. Левая ее нога была короче правой, заканчиваясь неподвижной, словно чужой ее телу ступней. Годи́лась эта крохотная, почти младенческая ступня мало на что: умела чуть-чуть шевелить пальцами и могла позволить слегка на себя опереться. А вот руки у нее, наоборот, были большие – «мужские», как говорила Лейла: крепкие, загрубевшие от посоха; это были руки, ловко умеющие стричь овец, пряхать пряжу, бить в барабан.

На свет девочка появилась в результате затяжных и мучительных родов, вышла ногами вперед. Повитуха, глядя в лицо роженицы, думала: «Ну, эта-то непременно помрет...»

Лейла мучилась уже больше двадцати часов, и все без толку. Губы тонкой ниткой обвели зубы, бледные щеки провалились, волосы взмокли от пота, а взгляд вылезавших из орбит глаз стекленел и косил куда-то вбок. Тяжело дыша, она изредка спрашивала:

– Он уже виден? Ради Аллаха, я умираю! – пока совсем не потеряла способность говорить и в груди ее не остались одни только глухие хрипы.

Повитуха смазала себе жиром руки – до самого локтя, чтобы хорошо скользили. А потом влезла обеими руками во чрево роженицы, схватила младенца за тоненькие лодыжки и изо всех сил дернула. В темной хижине, наполненной дымом и ядреным запахом пота и крови, раздался жуткий крик Лейлы. Она вопила, она орала, даром что слыла молчаливицей, да и перед родами ее щедро опоили снотворным соком мака и дали пожевать кусочек *банджа* – опиума.

Женщины, что толклись возле роженицы и натирали ее живот растительным маслом, почувствовали, что внутри живота, прямо под их ладонями, что-то оборвалось – и на свет божий, покинув истерзанное тело матери, наконец-то выскользнул младенец вместе с потоком крови.

Измотанная повитуха приняла девочку: та оказалась совсем крошкой – куда меньше по размеру, чем все новорожденные, которых ей доводилось принимать. На малюсеньком личике, покрытом кровью и слизью, сверкали два огромных глаза, внимательно изучавшие повивальную бабку. При своем появлении на свет Аулия не плакала.

Лейла истекала кровью еще несколько часов. Получив вознаграждение – две козьи шкуры, обычную в нищей деревне плату, – повитуха сухо и коротко сообщила испуганному папаше, что жена его никогда больше не сможет иметь детей.

Даже на пороге смерти, терпя невыносимые страдания, мать не позволила унести младенца в дюны. А когда ей достало сил вымолвить слово, она попросила не воды и не еды, а показать ей дочку. К ней поднесли крохотный сверток, и Лейла, ни слова не говоря, обняла младенца. Крохотная младенческая ручка ухватила за прядь материнских волос. Лейла прижала дочку к груди, и обе они мирно уснули и проспали вместе всю ночь и весь следующий день. Люди в деревне верили, что отказать в последнем желании умирающему – значит накликать на себя беду, поэтому родственники решили просто дождаться, когда обе они умрут. Муж Лейлы Юша, сын Нуна, забросил все свои дела: и коз, и пшеничное поле, ведь жена истекала кровью. И Юша, любя жену, не отходил от нее.

Девочка родилась такой слабенькой, что тельце ее с большим трудом удерживало чай пополам с козьим молоком, которым ее пытались кормить.

Однако, ко всеобщему удивлению, обе они – и мать, и дочь – выжили.

Лейла оправлялась от родов восемь месяцев. Когда же она смогла вернуться к домашним обязанностям и начала ухаживать за ребенком – увидела наконец то, что всем остальным давно уже было ясно: у ее девочки – увечная ножка. И еще ребенок был слишком маленьким: эдакий тихий кутенок, никогда не плачет – ни дать ни взять крохотная пустынная мышка. Женщины, ходившие за Лейлой, уверяли, что, когда им случалось подойти к больной ночью, девочка, не сводя с них глаз, следила за каждым движением. «Она вроде как видит в темноте», – шушукались они между собой.

Старики, муж Лейлы да и кое-кто из женщин спрашивали:

– *Гей!* На что нам эта хромоножка?

Лейла только пожимала плечами и спокойно отвечала:

– На что-нибудь да сгодится...

Малютка стала счастьем Лейлы. После родов, в те редкие минуты, когда она приходила в сознание и, разглядывая крохотное личико, видела в нем собственные уменьшенные черты, ее захлестывала неведомая прежде радость – даже в страданиях, даже в жару и в поту.

Лейла всегда была женщиной немногословной. Юшу она приняла с той же молчаливой решимостью, с какой приняла бы и судьбу старой девы. Она была уже немолода – почти тридцати лет, – когда обнаружила, что беременна. Ее счастье было скрыто от чужих глаз, будто внутри скорлупы, как и все другие жизненные проявления этой женщины: один только Юша умел разглядеть радость в степенной улыбке жены, трудившейся за ткацким станком.

Прослыв молчалиницей даже среди тех, кто и сам считал разговоры пустой тратой времени, она вдруг стала замечать, что напряженно вслушивается в дочкино воркование и без усталости повторяет ей названия всего, что есть вокруг, чтобы девочка училась говорить.

Косточки в тельце Аулии были легкими, как у птички. И хотя ей исполнилось уже восемь месяцев, росточком она была с новорожденного. Мать винила в этом себя: «Она такая маленькая оттого, что у меня нет для нее молока, для бедной моей малютки», – ворочались в ее голове тяжелые мысли. Ни на мгновение не отпускала она от себя ребенка. Заворачивала крошку в платок, привязывая этот сверток себе на спину, или брала ее на колени и прижимала к себе рукой. Девочка, вцепившись в материну рубаху одной ручонкой и засунув большой палец другой ручки в рот, смотрела на нее широко распахнутыми глазами.

– Маленькая ты моя, ангелочек мой... – шептала Лейла, накрывая ладонью хрупкую головку, покрытую легким черным пушком. Сквозь младенческую кожу просвечивали голубые венки. Аулия улыбалась матери, вынимала палец изо рта и склоняла головку на материнскую грудь.

– Аулия, скажи «вода»... – просила Лейла. Малютка, стараясь произнести слово и глядя маме прямо в глаза, шевелила губками, меж которыми виднелись первые, едва прорезавшиеся, зубки. Так продолжалось очень долго, пока в один прекрасный день кроха не огорошила свою маму – тоненьким голоском, четко выговаривая каждый слог, она сказала:

– Мама, я хочу пить.

Лейла, испуганная и счастливая, дала ей воды.

Говорить девочка начала, когда ей не исполнилось и годика; и вот уже возле хижины ее родителей собирались женщины, желающие послушать, как медленно и четко произносит малышка священные слова суры Фатиха.

– Единственный и великий одарил ее немалым разумом, – говорила Лейла собравшимся женщинам. – Смотрите, с каким благочестием она молится! – И женщины кивали в изумлении и тревоге.

Оставшись с дочкой наедине, Лейла бродила по хижине, показывала и называла ей разные вещи, рассказывала, для чего они нужны. Аулия тонким голоском повторяла за ней слова и широко распахивала глаза, удивляясь тому, что в бурдюке хранится вода, что в жаровне живет огонь и что мед такой сладкий. И Лейле казалось, будто она и сама впервые видит и называет по именам все эти вещи.

Когда же девочка начала ползать, ее родители с грустью заметили, что увечную ножку она волочит за собой и та оставляет в пыли длинный след.

Пытаясь встать на ножки, она неизменно падала, но никогда не плакала – ни единой жалобы никто от нее не слышал. Учить ее ходить оказалось делом нескорым и нелегким. Юша срезал с фигового дерева ветку, чтобы девочка могла на нее опираться. Пока другие дети играли, Аулия, покачиваясь и пыхтя от натуги, ковыляла к своей цели – распахнутым материнским рукам. Годами жители деревни наблюдали, как Лейла, направляясь к колодцу за водой или в поле, несет дочку на себе, а у ткацкого станка всегда берет ее на колени. Однако же наступил день, когда Аулия наконец, опираясь на посох, пошла самостоятельно.

Однажды утром, закончив молоть пшеницу, девочка спросила:

– Мама, можно мне пойти к детям?

Лейла, немало удивившись, подняла голову. Смахнула пот со лба, увидела горящее надеждой личико дочери, ее неуверенную улыбку. И, сглотнув внезапно вставший в горле комок, ответила:

– Иди, конечно же, иди, Аулия.

С печалью на лице, бессильно уронив руки, она смотрела, как под белым полуденным солнцем дочка идет прочь от их дома.

Дети играли возле деревенского колодца, забавляясь с козочкой. На шею ей они привязали веревку с бубенчиками. Бубенчики звенели – козочка от страха бегала кругами, все быстрее и быстрее, вздымая клубы пыли. Аулия подошла ближе, и козочка устремилась к ней, вытягивая длинную морду к руке девочки.

– Не трогай ее, хромоножка. Иди отсюда, – услышала она.

Аулия отпрянула, испугавшись угрожающего тона мальчика. Тарик, высоченный сын Самета, подошел к ней, уперев руки в боки. Аулия услышала за спиной смешок. Он тоже его уловил. И, расхрабрившись, швырнул горсть дорожной пыли в лицо Аулии.

– Убирайся! И больше никогда не приходи.

И они побежали догонять козочку, удиравшую от них с жалобным блеянием.

Лейла нашла дочку на берегу речки: та захлебывалась от слез. Худенькие плечики тряслись от рыданий.

– Они... они не хотят со мной играть, мама, – еле смогла выговорить девочка, – не хотят меня, потому что я хожу не так, как они...

Лейлу охватил огонь ненависти. Взяв дочку на руки, она понесла ее домой. С этого дня мать и дочь стали неразлучны. Не в силах Лейлы было заставить деревню принять ее дочь, поэтому ей самой пришлось стать для нее товарищем по играм. Мать до глубины души трогали усердие, с которым девочка молилась, и точность, с которой она старалась выполнять поручения, – а ведь ей приходилось совершать героические усилия даже для того, чтобы просто ходить.

С самого рождения ребенка разговоры Лейлы с другими женщинами перемежались умолчаниями и скрытыми угрозами. Об этом никогда не говорилось прямо, но разного рода намеков, недомолвок, обид и страхов хватало: вся деревня перебивается кое-как, чтобы только выжить, а тут еще хромоножка – дурной знак, и виной всему слабость Юши и молчаливое упрямство Лейлы.

Изгнанная из деревенского общества из-за дочкиной хромоты, Лейла полностью посвятила себя ребенку. Детские речи наполняли жизнь матери радостью, хотя кое-что в них ее пугало: Аулия с малолетства сообщала Лейле, когда пойдет дождь и каким он будет, сильным или слабым, – и не прибегала при этом ни к каким известным ритуалам.

Но в деревне уже был заклинатель дождя – Али бен-Диреме.

От отца, который, в свою очередь, получил их от своего отца, человек этот унаследовал все обряды целого искусства: ритуальные танцы, омовения, пение. Вот только Али бен-Диреме плоховато умел заклинать дождь.

Во времена *джахилии*, то есть первобытного беззакония, заклинатель дождя в пустыне был человеком уважаемым и востребованным. После бури света, ознаменовавшей послание архангела, слово Пророка стало огнем, испепеляющим бессмысленные обряды и жертвоприношения. И почти весь Магриб сменил ритуальные танцы на молитвы. Но в этом затерянном среди песков пустыни селении Книга и моления спокойно уживались с древними предрассудками бедуинов, такими как заклинание дождя.

Али бен-Диреме был предан своему делу и ревностно исполнял все обряды, но ему еще ни разу не удалось вызвать на землю ни единой дождинки. А вот Аулии достаточно было налить несколько капель воды себе в ладонку и пристально посмотреть на небо. После чего она с неколебимой уверенностью объявляла, сколько месяцев осталось до дождя и долго ли он будет идти.

Одним взглядом она могла определить, сколько жидкости содержится в травинке, в каждом бурдюке или в закрытом кувшине. И каждый раз отец с ужасом взирал на нее, выставляя вперед правый кулак с двумя распрямленными пальцами, указательным и мизинцем, – чтобы

отпугнуть демонов, а мать бросалась теревить мочки ее ушей, изгоняя оттуда голоса, нашептавшие дочке известия о воде. Малютка пугалась и начинала плакать, хоть и недолго, потому что вскоре возвращалась к своим играм: к глиняной козочке, стеклянным бусинам и песенкам – как и любой другой ребенок.

Лейла решила никому об этом не рассказывать и строго-настрого запретила Аулии беседовать о дожде с чужими людьми. Она, конечно, и мысли не допускала, что в девочку вселилось зло, – нет: для Лейлы дочкины таланты, как и хромота, были особенностями ее ребенка.

Но она боялась усилить неприятие и отторжение, и без того явственные: деревенские не хотели считать хромоножку своей, такой же, как они сами; а еще их пугало, что дочка Юши и Лейлы разговаривает совсем как взрослая.

Взять в жены другую женщину отец малышки не мог, потому что в деревне жили потомки *туарегов* – или, по-другому, *имошагов*, – владевших пустыней, а у мужчин-туарегов заведено было брать в жены одну женщину на всю жизнь. Они уже давно забыли, как это – странствовать от оазиса к оазису и как находить дорогу в песках, и утратили навык владения кинжалом и копьем. *Литхам* – темно-синяя, почти черная накидка, которая веками скрывала лица бедуинов от чужих глаз, превратилась в грязную тряпицу, защищавшую от безжалостного солнца головы их потомков, пока те усердно поливали свои скудные посевы. Но, в точности как и их предки, они оставались одноженцами. Так что хромой девочке суждено было навсегда остаться единственным ребенком Юши.

Аулии исполнилось уже тринадцать, и она превратилась в худенькую девчушку с огромными глазами и без всякого намека на девичью грудь и бедра. Волнистые черные волосы спускались ей до пояса. Загорелая кожа обтягивала мускулистые плечи. При ходьбе она покачивалась, но голову на длинной шее всегда держала высоко. «Тощая, как мальчишка», – с усмешкой шептались деревенские кумушки у нее за спиной, когда она шла вдоль улицы со своими козами.

Юша много месяцев вел переговоры с соседями, надеясь выдать дочку замуж за какого-нибудь деревенского пастуха. Но, несмотря на все его усилия, ни одна семья интереса к его дочке не проявила. Удивляться не приходилось: как уже было сказано в день рождения дочери и повторялось все эти годы – кому нужна хромоножка?

Юша злился, но вынужден был смириться. И твердил, что даже если б они могли дать за дочкой хорошее приданое, все равно не удалось бы выдать ее замуж. И это было чистой правдой. Аулия молча выслушивала его гневные тирады – с поникшей головой, зарыв пальцы правой ноги в пыль.

Все это она и так знала; отец говорил то, что она сама постоянно себе повторяла.

– Никогда мне не выйти замуж, – с горечью шептала она про себя. Деревенские парни делали вид, что ее просто не существует, с ней никогда никто не заговаривал. Напрасно мать часами вплетала ей в косы красивые алые бусины – парни не обращали на нее ни малейшего внимания, и ничто не могло это изменить: ни то, что девушка прекрасно играла на *дарбуке* – женском ручном барабане, ни что она всегда была умыта, а ладони ее выкрашены хной.

И, разумеется, Аулия никогда не участвовала в общих танцах – *фрахас*, когда парни и девушки танцуют до изнеможения, пока не свалятся с ног. Ей оставалось только следить со стороны за их слаженными движениями, молча слушать их смех и до крови кусать себе губы.

Деревня

Чтобы выжить, любой обитатель пустыни – будь то туарег или абориген – должен развить в себе поразительную способность ориентироваться в пространстве. Ему приходится все примечать, сравнивать между собой тысячи различных «знаков» – след жука-навозника, рисунок на гребне дюны, – чтобы они поведали, где находится он сам, а где – другие, где пролился дождь и где можно раздобыть следующий обед, зацвело ли такое-то растение и созрели ли плоды...

Из Записок Брюса Чатвина

Деревня звалась Ачеджар, то есть «деревья». Селение из двух десятков хижин, основанное горсткой кочевников, – когда заболел и умер их последний верблюд, а сами они безуспешно пытались сориентироваться на бескрайних просторах пустыни. Оазис был маленький, жалкий: всего лишь расщелина, по которой медленно текла *вади*, узенькая мутная речушка, а кроме нее – колодец, пальмы, финиковые пальмы, кустики морской спаржи и молочая да посевы пшеницы. Вокруг же стеной вставали красноватые скалы, настолько прожженные солнцем, что травы пустыни – *дринн*, *ачеб*, *ртам* – вырастали на них белесыми, почти белыми. Скалы служили деревне защитой от песчаных бурь.

Ачеджар был удален от всего. Основатели его когда-то сбились с пути, заплутали на бескрайних просторах белого песка, в который по колению, словно в болотную топь, погружались и животные, и люди.

С самого высокого утеса во все стороны глазу открывались только волнистые дюны, по которым лишь изредка скользнет легкая тень облачка. Безжизненный пейзаж, где обитают демоны с огненными ногами, способные испепелить человека одним своим взглядом. Нет здесь ни лис, ни львов, ни антилоп; только пауки цвета песка, редкие ящерицы да ядовитые змеи.

Раз в год прилетал *кашмир*, тот упорный ветер, что беззвучно проникал в деревню, исподтишка надувая в хижины песок. Люди просыпались поутру с покрытыми пылью губами, окаменевшими веками и громко стучащими от страха сердцами. Кашмир мог стереть с лица земли целое селение – оно, подобно потерпевшему крушение кораблю, оказывалось на дне песчаного моря. Ни один пастух не осмеливался выйти за пределы окружающих деревню гор, не рисковал углубиться в пустыню – туда, где нет ни дорог, ни знаков.

Коран в деревне был – ветхая книга с некоторыми отсутствующими страницами. Читать никто не умел. Люди знали только *Фатиху*, первую суру, потому как ни одному верующему читать ее нужды нет: она так же прочно отпечатана в памяти, как и любовь к пальмам и страх перед бурями. Крик петуха, полуденный зной, цикады и загорающиеся звезды – вот что служило им отметками времени, а не призыв к молитве муэдзина.

А чтобы никто не заплутал на обжигающих просторах пустыни, использовались амулеты. И жили эти люди так, словно никого, кроме них, в целом мире не было.

Выгнав коз из загона, Аулия присоединилась к веренице других пастухов. Она пасла коз возле ближних утесов. Травы там было мало, но и коз у Аулии было немного. Остальные пастухи – почти одни ребятишки – уходили со своими стадами дальше, туда, где росла аргания – «железное дерево» с острыми шипами и плодами, похожими на сливу, только горькую. Плоды эти с удовольствием поедала скотина. Четырнадцатилетней Аулии было невыносимо скучно. Удивляясь тому, сколько дней подряд ни у кого, кроме мамы, не находилось для нее ни единого доброго слова, вспоминала детство: несмотря на все страдания, оно не было пустым. У нее была подруга, Хамдонна.

Хамдонна сама подошла к ней однажды, когда Аулия с матерью сидела за прялкой. Они разговорились. Лейла, проникшись к девочке благодарностью, осыпала ее гостинцами: Хамдонне доставались то финики, то пшеничная лепешка, то бурдюк меда для родителей. С тех пор девочки пасли коз вместе. В те дни Аулия уходила дальше от дома, опираясь на круглое смуглое плечо подруги. Они играли в разные игры с шариками козьего помета. Этим играм девочек научили матери, чтобы легче было коротать время, и, когда кто-то из них проигрывал, Хамдонна, смешливая и пухленькая, хохотала так, что Аулия всякий раз вздрагивала. Но теперь, когда обе подруги вошли в брачный возраст, Хамдонна оставалась дома, с матерью, готовила на кухне и сидела за ткацким станком.

Аулия встречала подругу на обратном пути, когда Хамдонна вставала после *кайлулаха*, послеобеденного сна. Ее поступь изменилась, теперь она ходила покачивая бедрами: идет с ведром к колодцу, а на спине болтается коса с вплетенными стеклянными бусинами. Обычно Хамдонна махала Аулии рукой, а потом разворачивалась и уходила. Глаза подведены черным, на щиколотке медный браслет. Скоро она выйдет замуж. Хромоножку охватывала зависть: все выходят замуж, кроме нее. Никто не хочет такую невестку, никто не придет ее сватать. Единственное, что у нее есть, это козы. Навсегда.

Иногда она вздрагивала от камушка, брошенного в ее сторону со злобой, явно превосходившей меткость, и начиналась все та же старая песенка:

– *Гей!* Аулия-хромоножка, стол на трех ножках, морда сверчка...

Она закусывала губу и, с полными слез глазами, тоже начинала швырять камни, но ни ее отпор, ни даже оскорбления не могли вынудить их отступить. Лишь когда из ее глаз брызгали слезы, мальчишки наконец уходили, и она оставалась одна. И только ветер издали доносил до нее чужой смех, свист тростниковой дудки и лай собак.

А она шла дальше прихрамывая, похлопывая по костлявым спинам послушно трусивших за ней коз, искала пятнышко тени, где можно переждать дневное пекло и укрыть от жгучих лучей бурдюк с водой.

Под неумолчное жужжание мух Аулия погружалась в дрему с открытыми глазами: нальет в ладошку воды из бурдюка, и в этой крохотной лужице ей видится то, о чем доводилось слышать только от стариков – а может, все это и сказки: оазисы, верблюды, фонтаны. Вода. Аулия грезила о воде; так проходило утро. И молилась, и присматривала за козами. Жара выпаривала из нее силы, сухой запах песка обжигал ноздри. Девушка отгоняла мух, норовивших сесть на губы, переводила невидящий взгляд на коз.

Когда солнце уже клонилось к закату, пастухи гнали коз к реке – на водопой. Мальчишки шли по тропе, а встретив смоковницу, сверху донизу облепленную цикадами, принимались ее трясти – до тех пор, пока перепуганные насекомые не начинали ронять капли сладковатых выделений, осыпавшихся мелким дождиком.

Козы пили воду, а дети в это время купались. Мутная вода речушки даже в глубоких местах едва доходила им до пояса, но и этого хватало, чтобы забыть о палящих лучах солнца, избавиться от усталости и жажды. И самое главное – чтобы поиграть.

Аулия, хоть уже и не ребенок и к тому же хромоножка, в воде чувствовала себя счастливой. В этот час жара была такая, что в воздухе, волнами плывущем над раскаленным песком, рождались сверкающие миражи.

Где-то далеко от них пустыню пересекали длинные караваны, ведомые мужчинами с обожженной солнцем кожей и твердыми, как дерево, руками и ногами. Эти проводники знали звезды и «двести тайных дорог» и всегда брали с собой в путь ровно столько солдат, сколько с ними мешков золота, а еще прихватывали сказителя разных историй и врачевателя, обученного в Исфахане, в Академии Ибн Сины.

Одни направлялись к Тагазе, громадной соляной горе, что высится среди дюн, как мираж; другие – к медным рудникам; были и такие, кто шел к селениям на южной границе пустыни, чтобы там захватить в плен красивых черных людей. Таинственные глиняные башни высились среди равнины, именуемой *Хадрамаут*, с двух сторон от которой лежали море и Руб-эль-Хали, *пустой угол*, – еще одно море, обжигающее море камней.

Чтобы вернуться туда, откуда вышли, всем путникам требовалось не меньше года.

Нанятые в городах или портах солдаты охраняли верблюдов, груженных золотом, клинками из Индии, янтарем из Киева. Неукротимые туареги, поклонявшиеся метеорам, совершали набеги на торговые караваны: кривые, как клыки леопардов, сабли, горящие жадностью синие лица.

Как-то вечером юные пастухи, игравшие на вершине горы, заметили приближавшегося всадника. Вначале они подумали, что это *джинн* – вселяющий ужас дух песчаных смерчей, который способен внезапно вставать над дюнами и может даже убить одним взглядом красных своих глаз. Перепуганные дети побежали прятаться. Но, когда всадник приблизился, они поняли, что это всего лишь лишившийся чувств человек на спине какого-то животного с длинными ногами и величаво посаженной головой: первый конь, которого они видели в своей жизни.

Животное, несмотря на близость смерти, было преисполнено изящества, черная матовая его шкура была вся в пене и в поту; с губ капала кровь. Конь едва переступал ногами, а у самого подножия горы рухнул на песок. Кто-то из детей закричал, другие закрыли глаза руками и заплакали. Самые маленькие побежали к родителям.

Пришли взрослые, не слишком-то доверявшие рассказам малышей, и увидели всадника, придавленного трупом лошади. Всадник оказался молодым человеком с землистого цвета лицом и орлиным носом. Кожа его была покрыта волдырями, широко открытые глаза залеплены мухами. Турбан, размотавшись, висел на шее. Лоб украшала изящная татуировка, а каждое запястье – по десять золотых колец. На нем был бурнус из тонкого сукна, но с обгорелыми краями. Пальцы намертво вцепились в уздечку, так что отцепить их стоило немалых трудов. Язык почернел, распух и был похож на язык птицы. Сквозь дыру на плече его туники видна была открытая рана. А те, кто поднял его и понес, несколько дней кряду не могли отмыть от себя его темную, тяжело пахнущую кровь.

– Что ж, – изрек Али бен-Диреме, – стало быть, пустыня послала нам гостя. Во имя Аллаха: если он должен вкушать нашей соли, да будет так.

Хромоножка видела, как его пронесли мимо, занесли в хижину. Видела она и как схоронили его коня, а также зарыли поглубже его разорванную и зловонную тунику. Туника была прекрасна: несмотря на вонь, дыры и прожженные пятна, этот предмет одежды, судя по всему, был где-то за тридевять земель расшит руками, привычными к золоту и серебру.

Потом раненого омыли колодезной водой, он же лишь стонал, не приходя в себя.

Лейлу терзала тревога за дочь. С того дня, как в деревне появился чужестранец, девушка почти ничего не ела и настаивала на том, что по вечерам будет за ним ухаживать. Теперь ее дарбука тихо пылилась в углу.

Вместо того чтобы петь вместе с матерью песни, лепить из теста и выпекать над очагом фигурки животных для украшения пирогов, Аулия проводила все вечера подле раненого. Мыла пол в хижине, отгоняла от него мух и, засыпая от голоса Али бен-Диреме, неустанно читавшего все известные ему молитвы и заклинания для исцеления страждущих, прилежно выбирала блох из рваного одеяла, которым укрыли раненого.

Но не было на свете ни талисмана, ни обряда, какие могли бы его излечить, и Али бен-Диреме отступился. Пятна крови раненого еще несколько дней не сходили с рук заклинателя, хотя он многократно и старательно отмывал их чаем. Чутье подсказывало Али бен-Диреме, что

с этим человеком случилось что-то неведомое, – и ему было страшно. Единственное, что ему удалось, это остановить кровотечение из раны в плече: он заклеил рану лепешкой, слепленной из козьего помета с оливковым маслом. Ежедневно обновлять этот пластырь взялась Аулия. Деревенские, у кого память покрепче, сразу вспомнили, какие ходили слухи после рождения хромоножки, и начали перешептываться:

– Интересно, что привело сюда этого человека? Быть может, это и есть то несчастье, что ждет нас с самого рождения Аулии? И страшное предсказание начинает сбываться...

Заботы о чужаке целиком легли на плечи девушки. Впервые в жизни она не чувствовала себя одинокой: с ней рядом был кто-то еще – кто-то кроме ее матери. И неважно, что это умирающий чужестранец, которому даже неведомо, где он находится.

Хижина, где поселили всадника, больше не пахла опаленной кровью и превратилась в самый чистый дом Ачеджара. Аулия заботливо готовила для него напиток из козьего молока с медом, которым пастухи надеялись исцелить больного. Долгими часами разглядывала она его безжизненное лицо. Иногда он хмурился во сне, и с его пересохших губ слетали хриплые стоны. Тогда она ласково гладила его по щекам и, приблизив свои губы к его уху, тихонько читала молитвы.

Она стала кое-что понимать в его бреде и научилась его успокаивать, когда он шептал какие-то имена, перемежаемые бессвязными речами о гиенах, об адском пламени, о людях, которые не могут проснуться...

Она промокала ему пот и отирала слезы, водила пальцем по линиям татуировки у него на лбу, смазывала ему губы медом и заставляла понемногу пить молоко. Клала голову чужестранца себе на колени, и он улыбался во сне, избавившись на время от непрекращающегося кошмара, а сердце в груди девушки начинало стучать сильнее. И она запускала пальцы в кудрявые волосы больного и приподнимала его лицо к своему, пока горячее дыхание не достигало ее щек.

Это был первый мужчина в ее жизни, которого она коснулась. И хотя она всего лишь очищала его гнойные раны, пока те не превратились в длинные лиловые шрамы, обтирала его и пыталась заставить проглотить немного молока, ощущение его кожи под пальцами наполняло ее радостью и смятением.

По ночам девушка донимала расспросами свою мать: откуда пришел этот человек, в каких краях люди носят такие роскошные одежды, почему она каждую ночь видит его во сне? Иногда ей снилось, как чужестранец верхом на коне появляется из огненного облака в огненном плаще, и лицо его залито слезами.

– Здесь почти никто не помнит, как зовутся другие племена и где они живут. Да и почему тебе снятся такие сны, мне неведомо, – отвечала Лейла, правой рукой творя знак, отгоняющий злых духов.

А Юша, нахмутив брови, топал ногами и восклицал:

– Молчи, девица! Ухаживай за ним и помалкивай. Хоть бы он исцелился наконец и уехал отсюда...

Аулия изменилась; теперь она говорила о странных вещах, и в душе отца возродилось то самое беспокойство, с каким он принимал ее детские предсказания дождя. Юша замечал блеск в глазах дочери, ее смятение, видел, как дрожали ее руки, когда она говорила о раненом, – и в груди его поднималась волна темной, глубокой ярости.

– Поди сюда, Аулия, я тебе бусины в косы вплету; иди же ко мне, давай помолимся, ну же, – успокаивала ее Лейла.

Но Аулию не интересовали ни бусины, ни молитвы. Желала она только двух вещей: или ухаживать за чужестранцем, или спать. Потому что снились ей отнюдь не только кошмары: порой ей являлся город, полный чудес, – будто огромное селение, по которому шагал чужестранец. В этом селении имелись мечети, где люди молились Единственному, но еще – хотя

видеть это было странно и страшно – были другие храмы, где на непонятных языках возносились молитвы неведомым богам.

Были там и высокие, как скалы, дворцы, окружавшие город, и самые разные животные – в шерсти, в перьях и чешуе. Туннели, кишашие черепаками, черные змеи в закрытых корзинах, прекрасные кони, подобные тому скакуну, на котором сидел чужестранец, смуглые, как она сама и ее соплеменники, мужчины и женщины с лицами, закрытыми накидками. Видела она и других – белых, как козье молоко, одетых в железо, с красными крестами на белых плащах, нещадно потевших под безжалостным солнцем. И черных, с золотыми пластинами на курчавых головах; и желтых, с раскосыми глазами, подметавших пыль шумных улиц шелками одежд. Но никто из них ее не замечал: она скользила меж них, будто тело ее – дым.

На базарной площади, словно маленькие башни из прутьев, громоздились клетки с соловьями, щеглами и канарейками. Птицы отчаянно пели и щебетали, протестуя против неволи, их гомон перекрывал гудящее разноголосье. В клетках-*алькахасах*, накрытых сверху материей, сидели ловчие птицы. Ястребы, соколы и кречеты – живые драгоценности для запястий принцев, крылатые орудия утренней охоты. Они прячут твердые клювы в шелковых подкрыльях и чистят перышки, но им явно не терпится камнем пасть на грудь голубки и обагрить утреннее небо кровавой звездой.

На прилавках торговцев всеми красками сверкали фрукты: арробы¹ хурмы – яблок Персии, андалузских фигов, сладких, как сахар, фиников и круглых, желтых, как солнце, апельсинов. Были там и плошки с рисом и кунжутом, и оливки, и груды фиолетовых, будто восковых баклажанов, и горки шафрана. Торговцы голосят, расхваливая свой товар, тянут к покупателям бронзовые руки с пучками пастернака или плодами граната.

Чужестранец, одетый в пурпур, прогуливался меж прилавками: то попробует медовую *кунафу*, то выпьет плошку кислого молока. Когда мальчишки тянули его за подол, требуя монетку, он смеялся – в добром здравии, веселый и с лицом еще краше того, которое она, ухаживая, видела перед собой.

Но больше всего в этих снах девушку изумляло обилие воды. Она любовалась садами этого города, отражавшимися в глади прудов – *альфагуар*, текучей водой источников – *алабьяров*, глубокими и гулкими колодцами, водохранилищами и *азарбами* – отводящими каналами и протоками.

Она видела очертания своего нагого тела в воде выложенных изразцами бассейнов, подбирала желтые цветы, плывущие по течению в пенных каналах, ходила по дорожкам, обсаженным апельсиновыми деревьями, и они роняли на нее белые лепестки цветов.

Ее, невидимку, толкали спешившие куда-то матроны, мальчишки-оборванцы, занятые работой *аларифы* – каменных дел мастера, перепачканные белой пылью; следы ее босых ног сплетались с их следами в вонючей грязи.

Перед молитвой она, как и положено, омывала руки, голову и ноги в каменных фонтанах, выточенных в форме львов, чьи пасти изрыгали длинные прозрачные струи. Вместе с толпой, истово обратившейся к кибле – все как один лицом к Мекке, – Аулия во сне молилась.

Пробудившись утром, девушка ни слова не говорила матери о тех чудных вещах, что ей снились, – это был секрет, объединявший ее с чужестранцем.

Она шла к козам и пасла их весь день, а потом снова наступала пора ходить за раненым и вспоминать, каким она видела его во сне: как он с улыбкой на лице шагал по улицам среди ароматов ладана и мускуса – тех благовоний, что *алатары*, торговцы ароматами, привозят из далекой и жаркой страны Суматры.

Потом изменились и ее дни, поскольку чужестранец все не выздоравливал.

Хромоножка единственная во всей деревне могла посвятить уходу за ним все свое время.

¹ Мера веса, равная 11,5 кг. (Здесь и далее – прим. перев.)

А коль скоро стадо ее было крошечным, заботу о козах взял на себя другой пастух.

Абу аль-Хакум

*Здесь, среди камней, под мерцающими звездами, исчезает даже
память; не остается ничего, кроме дыхания и биения твоего сердца.
Пол Боулз. Зеленые головы, синие руки*

Звали чужестранца Абу аль-Хакум, и родился он в Самарре, «той, что радуется узревшему ее», – пышном, выстроенном по кругу городе, некогда основанном аль-Мотасимом.

Самарра, сестра и соперница Багдада, раскинулась вокруг восьмиугольного дворца Катул. Этот город калифов насчитывал триста шестьдесят башен, расположенных в соответствии с указаниями астрологии. Расчерченный многочисленными каналами, в которые гляделись высокие окна и террасы домов знати, город славился ипподромами и охотничьими угодьями. Но хоть город и создавался для неги и роскоши, правители его не желали прослыть недостаточно набожными: руками тысяч строителей, свезенных со всех концов империи, в самом центре была выстроена грандиозная мечеть аль-Мутаваккиль.

В этом городе, придворном и пышном, и появился на свет аль-Хакум. Он был единственным сыном преуспевающего торговца драгоценными птицами, высоко ценимыми за их яркое оперение и ангельское пение, а потому его детство проходило в одиночестве, среди ароматов сандала и мирры. Окруженный любовью и лаской всех отцовских жен, он проводил дни в пышном дворце с фонтанами, играя с карликовыми газелями. Застенчивый меланхоличный мальчик часами придумывал себе товарищей для игр и прислушивался к доносившемуся из-за ширмы смеху сестреноч.

Когда темнело он, укрывшись за москитной сеткой, с нетерпением ожидал еле слышных – невольники его отца носили бабуши из мягчайшего бархата – шагов Асиза. Это был внук, который приходил к нему рассказывать о кровавых приключениях Аладдина и Али-Бабы.

Потом его отдали в школу при мечети, где учитель Харран, выпускник *медресе* в Фесе, научил его читать и писать. Там аль-Хакуму предстояло выучить наизусть Коран – с открывавшей его Фатихи до самой последней суры. И там же ему наконец довелось познать неведомую до сих пор радость, рождаемую в душе смехом других мальчиков.

Харран был высокий и стройный смуглый человек с узким лицом и ярко горевшими на нем небольшими глазами. Густая борода с проседью спускалась ему на грудь. Голову венчала маленькая остроконечная шляпа, обернутая тюрбаном, а плечи покрывал просторный черный халат грубой шерсти. Жил он вместе с матерью в квартале ткачей, в скромном домике из кирпича-сырца. Учитель был строг, но справедлив, говорил всегда спокойно. Расхаживая между учениками и обводя их внимательным взглядом, он опускал свою тонкую смуглую руку на голову то одного, то другого мальчика. Дети прозвали его Слоном – за поразительную память и серьезную медлительность.

Уроки начинались ранним утром. Мальчики читали молитву, а потом несчетное количество раз записывали суры, держа таблички на скрещенных ногах. В полдень уроки заканчивались и мальчики убегали играть во двор мечети.

Каждый раз, когда аль-Хакум видел пришедшего за ним раба, его охватывало смятение: мальчика манил город – с его улицами, с густым запахом многолюдной базарной площади. Постепенно он убедил мать не страшиться за него и, в сопровождении приятелей, приступил к изучению родного города: играл на площадях в войну с палкой вместо сабли и с тростниковым щитом, кидал монеты в темные колодцы, такие бездонные, что они не откликались ни звуком, бегал за мулами купцов и, прячась в кустах, подглядывал за рабынями, которые с непокрытыми лицами полоскали в пруду белье. Он уже не томился одиночеством, а превратился в обычного смешливого шалуна, ничем не отличавшегося от других.

Учитель Харран был ненасытным читателем. Ему нравились и размеренные хроники Ибн Хальдуна, и стихи бедуинов, и восточные сказки.

Когда дети выучивали новую суру и у них получалось без ошибок записать ее на табличках, Харран принимался рассказывать им о славе и несчастьях правителей самых разных царств. Именно эти моменты были для аль-Хакума лучшими. Тогда за окном мечети он видел не синее небо, а зеленое знамя Ислама, реющее над войсками, различал вдали поля сражений и сокрушенные стены вражеских городов.

Однажды утром, после долгих упражнений в каллиграфии, Харран раскрыл таинственную книгу в зеленом атласном переплете, которую он всегда носил с собой. Друзья аль-Хакума, да и сам он частенько задавались вопросом: что за книга такая? Уж точно не Коран. Дети знали Коран учителя – толстый фолиант серого цвета. А эта книга была тонкая и довольно потрепанная. Зеленый атлас по краям потемнел, а корешок и вовсе сделался почти черным. Держа книгу в руке, учитель обвел взглядом лица своих учеников и улыбнулся.

– А сейчас я расскажу вам историю самого великого арабского поэта.

И то ли дело было в улыбке, так редко освещавшей суровое лицо Харрана, то ли в особенном тоне его слов, но ученики, все как один, тотчас замерли над своими табличками, подперев головы руками.

Завороженно слушали они голос Харрана, красноречивого как никогда. Учитель рассказывал им о жизни аль-Мутанабби: тот начал писать стихи, когда был еще мальчиком, как и они. Это была история, достойная книги сказок, ибо рано проявившееся поэтическое дарование аль-Мутанабби было сравнимо только с его жаждой приключений. Уроженец славного города Куфа сложил свои первые стихи в шестилетнем возрасте.

Его необычайный талант успел обрести широкую известность, когда, уже в отрочестве, он решил овладеть классическим арабским языком и поселиться в пустыне. Гордая бедность бедуинов, их строгий кодекс чести и мужество, являемое в битве и перед лицом смерти, стали для него открытием. И не было ни одного города, ни единого дворца во всем исламском мире, что смогли бы удержать его в своих стенах: приемный сын пустыни отныне и до конца жизни предпочитал ставить к ночи на раскаленном песке свою *хайму*, палатку кочевника, нежели почивать на мягком ложе при дворе. Он был бесстрашен и дерзновен: эта дерзость и привела его к гибели, когда один из сильных мира сего, впав в ярость после прочтения обидных для себя стихов, приказал своим людям устроить засаду на караван аль-Мутанабби, направлявшийся в Багдад. Поэт умер с клинком в руке – так же, как жил. Последние его стихи затерялись в дюнах.

Дети слушали с открытым ртом. Харран открыл книгу и начал медленно читать:

*...знают меня всадники, ночь и пустыня, привычны мне сабля с копьем
и бумага с флейтой.*

*О враги мои! Ничто нам не нужно, кроме жизни ваших, и нет к вам
иного пути, отличного от клинка.*

*Бегут на берег волны в гребешках пены, словно жеребцы с кротким
ржанием погружаются в море.*

Волосы на затылке Абу аль-Хакума встали дыбом, глаза наполнились слезами. Он представлял, как он сам, верхом на взмыленном коне, мчит по кромке огромного, непостижимого моря – оно виделось мальчику широкой зеленой рекой, – и морской ветер парусом вздувает его бурнус. А за ним лежит пустыня, вечная и безжизненная пустыня.

Стихотворение аль-Мутанабби заворожило его.

В тот же день он отправился в квартал ткачей – искать жилище учителя. Дом оказался весьма скромным, с одним апельсиновым деревом в саду. Он постучал в дверь, и ему открыла старуха. Ее лицо не было прикрыто ничем, кроме сетки глубоких морщин. Старуха позвала Харрана, и тот, безмерно удивленный, вышел на порог. Без тюрбана и в белой тунике он выглядел моложе. Учитель пригласил мальчика в дом, и аль-Хакум с робостью вошел. До самой ночи говорили они об аль-Мутанабби.

С тех пор совместные беседы после уроков стали для них обычным делом. Они совершали вдвоем долгие прогулки возле мечети аль-Мутаваккиль, и, пока Харран рассказывал о бедуинах, солнце медленно садилось за крытый изразцами купол.

«Мы позабыли, как высоко ценили честь наши предки», – с чувством повторял Харран, а Абу аль-Хакум кивал.

Поначалу идеи учителя его смущали. Он вырос в городской семье торговцев, презиравших бедуинов почти так же сильно, как бедуины презирали торговцев. Он знал, что его отцу удалось скопить немалые богатства, а от него самого ожидалось только одно: что он будет этими богатствами разумно управлять.

Мать бесчисленное число раз говорила ему о том, какой он счастливчик: выйти из-под надежной защиты городских стен ему придется исключительно ради паломничества в Мекку, да и то с караваном, который пойдет освященным маршрутом. Удобное и безопасное путешествие.

Но Харран читал стихи, говорил о паломниках солнца, о тех, кто молится в мечетях из песка, и аль-Хакум погружался в мечты.

Он стал ходить на базар, чтобы слушать истории путешественников, возвращавшихся с берегов далеких морей в Самарру, дабы продать здесь свои товары. Слава здешнего базара была столь велика, что к его торговым местам стекались и франки со своими жемчугами, и пираты из Трапезунда, привозившие на продажу белокурых женщин для гаремов богачей или для обмена их на прекрасных, как пантеры, чернокожих. И там же отец его продавал своих птиц. Друзья-приятели подшучивали над аль-Хакумом: он желает узнать пустыню – это он-то, сын богача, который может прожить всю жизнь в городе, наслаждаясь *хаммам*² и пирами!

Когда мальчику стукнуло пятнадцать, а это случилось спустя месяц после Великого Чтения – сурового экзамена, в ходе которого проверялось знание Корана, – Харран подарил ему книгу аль-Мутанабби «Касиды бедуина». Книга была в точности как и у него самого: из багдадской бумаги и обтянутая зеленым атласом. Абу аль-Хакум закрылся с подаренной книгой у себя в комнате и читал до той самой секунды, пока евнух, громко хлопая в ладоши, не вошел к нему и не сообщил о грандиозном празднестве, которое собираются устроить его родители в честь единственного ребенка мужского пола в семье.

Али Джоша решил представить сына своему цеху.

Праздник знаменовал собой конец отрочества аль-Хакума. Собрались десятки самых разных купцов, и аль-Хакум, в шелковой расшитой золотом тунике, безучастно и вежливо выслушал все их деловые предложения. Под утро, когда удалился последний гость, Али Джоша провозгласил:

– *Гей!* Аль-Хакум, теперь ты должен начать работать вместе со мной.

– Да, отец, – ответил ему сын, опустив глаза в знак уважения. – Благодарю за праздник.

На следующий день аль-Хакум не пошел на базар, а отправил вместо себя раба, сославшись на «усталость».

И так и пошло: каждое утро в те часы, что раньше посвящались обучению в мечети, он запирался в прохладном сумраке своей комнаты и читал зеленую книгу, с которой никогда не расставался.

² Хаммам – турецкая баня.

Родители терпеливо ждали проявления хоть какого-то интереса со стороны сына. Мать получала знаки сыновней любви и благодарности, но всякий раз, когда заговаривала о работе, аль-Хакум переводил разговор на другое или же благочестиво предлагал помолиться вместе. Тогда Али Джоша призвал его к себе.

Он принял сына в своих покоях, полулежа на целой горе шелковых подушек, с мундштуком *наргиле* в губах, в окружении облака ароматного дыма. В молчании выпили они по три чашки чаю. За стенами звучали голоса бесчисленных птиц, сплетаясь в узоры не менее замысловатые, чем листва на деревьях, к которым были подвешены птичьи клетки. Клетки из золотых прутьев – для щеглов; из серебряных – для канареек; большие, как корабли, бамбуковые – для голубей. Фонтан в саду служил им огромной поилкой, а вокруг прыгали воробьи и дружно клевали рисовые зерна, которые каждое утро рассыпали для них по мозаичному полу невольники.

Старик внимательно разглядывал умное и печальное лицо своего сына. От жен он знал, что юноша склонен к меланхолии и что ему нравится проводить вечера за чтением. Порой юноша горстями тратил деньги на пиршествах, которые не доставляли ему никакого удовольствия. К отцовскому делу он не выказывал ни малейшего интереса, и Али Джоша опасался, что такая безучастность превратит сына в ни на что не годного человека. Он всегда желал, чтобы сын управлял его состоянием. Но, быть может, аль-Хакум хочет продолжить учиться: выучиться на врача или на астронома?

– Клянусь Аллахом, ради Аллаха и во имя Аллаха – когда мои глаза видят тебя, я горжусь своим родом. Мне говорят, Абу аль-Хакум, что ты – юноша благочестивый. В день Великого Чтения ты показал, что знаешь Коран, и во всей Самарре не было отца, который бы гордился больше, чем я. Однако на базар ты не ходишь, и состояние моих владений тебя не интересует. Я хочу кое о чем тебя спросить, но прежде чем ты ответишь, я вынужден просить тебя отвечать мне искренне, – произнес он громовым голосом.

– Да, отец, – ответил юноша, почтительно опустив глаза долу.

– *Гей!* Сын мой, почему ты ни разу не просил меня, чтобы я вновь свел тебя с другими купцами? Верно ли, что тебя не интересует торговля? Разве не желаешь ты продолжить семейное дело, торгуя птицами, как до меня это делал мой отец, а до него – его отец? Быть может, ты хочешь учиться?

Уловив доброжелательные нотки в словах отца, аль-Хакум устыдился так, что у него перехватило горло. С глубокой печалью он ответил:

– Не знаю, отец. Верно то, что я не выказал интереса к твоему делу и с самого дня Великого Чтения провожу время в хаммаме и пирах. Но я и не учусь. На базарную площадь я прихожу лишь затем, чтобы развлечься с приятелями и потратить твои деньги. Горе мне! Возможно, я читал слишком много стихов, – произнес в ответ аль-Хакум, чуть не плача.

Али Джоша улыбнулся.

– А у тебя никогда не возникало желания путешествовать? – поинтересовался отец.

От такого вопроса сердце аль-Хакума едва не выскочило из груди. Путешествовать! Исполнить самые заветные свои желания: познать пустыню и море, сбросить с себя эту вялость, повторять слова Фатихи в безмолвии пустыни, чтобы услышать их в точности так, как слышал когда-то Пророк...

Жизнью в Самарре он тяготился. В хаммаме, под журчание воды, в клубах пара и дыма от *кифа* – гашиша, молодые люди вели нескончаемые разговоры о женщинах, деньгах и лошадях, в которых сам он если и участвовал, то без тени интереса. Никого из них не увлекала поэзия, а страсть аль-Хакума к бедуинам они считали странностью, какая бывает присуща меланхолическим натурам. Однажды вечером, отуманенный гашишем, он, по наущению друзей, встретился с одной девушкой – своевольной Фатимой, дочкой купца, одного из знакомых его отца.

Она показалась ему красавицей, и, вернувшись домой, он, дабы увековечить свое первое свидание, сочинил несколько стихотворных строк, прибегнув к метафорам из читанных им поэтов; он написал, что зубы девушки подобны лепесткам ромашки, а щеки – розам. Однако уже на следующее утро он понял, что его стихи ужасны. И, несмотря на то, что девушка показала ему свое лицо – когда она с заговорщицким видом приоткрыла плотную черную чадру, расшитую золотыми и серебряными нитями, и он успел заметить, что нижняя губа у нее выкрашена в цвет индиго, а по подбородку змеится красная линия идеальной спирали, – от всего вместе он чувствовал лишь смутную досаду. Он еще продолжал с нею встречаться: возможно, для того лишь, чтобы было о чем поговорить с друзьями, всякий раз прибавляя шепотку пикантного вранья к скуке и преснейшим диалогам, заполнявшим их вечерние свидания.

Путешествовать. Покинуть привычные пределы, как когда-то он покинул дом ради города – и обрел детство. Он медленно кивнул и поднял взор. Сквозь слезы, наполнявшие его глаза, он различил лицо отца – улыбающееся, нежное.

– Я-то полагал, что ты возблагодаришь меня, если тебе не придется отправляться в путь, но, возможно, в тебе больше от меня, чем от твоей матери, – заговорил Али Джоша. – Богу известно, что она – лучшая из женщин, и также ему ведомо, как она настрадалась, когда я уезжал из дома в дальнюю дорогу. Теперь она боится за тебя, и ее несказанно радует, что для тебя есть возможность вести дела, не выезжая за пределы Самарры. Сам я уже слишком стар, чтобы вновь пересечь Раскаленный Пояс, чтобы увидеть море. По ту сторону пустыни, там, где начинается море Ларви, раскинулись пляжи со множеством фламинго – высоких птиц с розовым, как женские губы, оперением. Там спариваются все ласточки мира, там щелкают клешнями крабы, и этот шум слышен за несколько миль. Сын мой, если тебе не по душе торговля птицами, быть может, ты захочешь скупать у рыбаков жемчуг? Умереть, не увидев моря, – несчастье.

– А какое оно, море, отец? – нетерпеливо спросил юноша.

– *Гей!* Я всего лишь торговец – мне не хватит слов описать его. Поищи в своих книгах слова поэта, сын мой. А я лишь могу сказать, что из всех моих путешествий воспоминание о море – самое драгоценное. И когда придет мой последний час, я бы хотел вспоминать о том миге, когда глаза мои узрели его впервые.

– *Гей!* Мой господин, с твоим благословением и по воле Аллаха этим же летом я отправлюсь в путь. Благодарю, отец. Прошу тебя, дай же мне благословение!

Старик рассмеялся. Желтая канарейка с подрезанными крыльями что-то искала в его бороде. Отец возложил широкую морщинистую руку на черную кудрявую голову юноши, склонившуюся перед ним.

– Иди на базар и поищи *баишамара*, проводника с амулетами, который знает все звезды на небе и может своим пением защитить караван. Купи коня. Выбирай тщательно, потому что от него будет зависеть твоя жизнь. Пословица говорит, что есть три вещи, способные развеять печаль: увидеть то, чего никто и никогда не видел, услышать то, чего никто и никогда не слышал, и ступить на никем не хоженую землю. Да пребудет с тобой Аллах!

Абу аль-Хакум, чье сердце скакало от счастья, расцеловал руки отца и с поклоном вышел во двор.

На конском базаре, над которым стоял резкий дух верблюжьего навоза, Абу аль-Хакум, объясняясь жестами с двумя монголами, которые торговались на своем родном гортанном наречии, купил прибывшего из татарских степей жеребца черной масти. И дал ему имя *Рад*, то есть «гром». Когда пришло время, аль-Хакум объездил его сам, сделавшись единственным всадником, которого конь соглашался возить на себе.

Абу аль-Хакум завел привычку передвигаться по городу верхом на Раде. Под журчанье воды он скакал вдоль *арыков*, каналов охватывающего город зеленого пояса с четырьмя воро-

тами. Как и Багдад, Самарра распахивала свои двери на все четыре стороны света: ворота на Сирию, на Куфу, на Басру и на Хорасан.

Каждый день, завершив утреннее омовение, аль-Хакум отправлялся в конюшню и сам седлал и готовил к выезду своего коня. Тихо разговаривал с ним и угощал горстями засахаренных фиалок, старательно заплетая конскую гриву в косички.

Юноша проводил с конем столько времени, что вскоре животное превратилось в продолжение своего хозяина, невинное и дикое. От праздника до праздника торопил он время, с нетерпением ожидая конца сезона песчаных бурь, когда можно будет выехать из Самарры. И заполнял время ожидания подбором товаров, на которые можно будет обменять жемчуг, а также чтением «Касид» аль-Мутанабби и приключений Синдбада-морехода.

А еще он подолгу беседовал с отцом, открыв для себя, что этот бесстрашный старик, с которым раньше он виделся так редко, страдает оттого, что старость удерживает его дома. Али Джоша любил путешествия всем сердцем: ни многоголосье мирного разношерстного города, где проходила его уютная старость богатого человека, ни наслаждения гарема не могли его развлечь: он томился по лишениям и неожиданным поворотам судьбы. Он тосковал об ушедших радостях и страхах: об улыбчивых негрityнках и туземках, что плясали для него в Тимбукту за мешочек соли, об угодивших в его сети разноцветных птицах, о повергающем в трепет рычании львов в ночной пустыне, о том времени, когда он был молод и спал на песке, зажав в правой руке рукоять кинжала, с сердцем, преисполненным счастья и ужаса.

Отец не скупясь участвовал в дорожных приготовлениях сына, воодушевленный радостью, которой сияли глаза аль-Хакума.

В величественном нагромождении торговых палаток можно было найти все: и упругую твердость индийских мечей, и доспехи из Китая, и египетский лен, и хлопок из Хорасана, и ковры из Тверии. Приходилось пробираться между чародеями, наемниками, ворами. Христиане рассчитывали, сколько мешочков золота или соли нужно заплатить Горному Старцу, чтобы избежать столкновения с его *хашидами* – кровавой армией головорезов, кидающихся в бой с улыбкой на лице, пеной на губах и гимнами во славу смерти.

Те, кто собирался в путешествие, искали проводников – бесстрашных и надежных *баиш-хамаров*, плату за свои услуги берущих вперед. В пустыне Амея путника на каждом шагу поджидают опасности: кроме хашидов и туарегов есть и демоны, и страждущие призраки, и кроважные джинны. Христианин по имени Марсель, сидя на корточках возле костра, говорил так: «Воистину кровь стынет в жилах от мысли, что женщины своим колдовством могут спрятать луну в раму зеркала, или же в полнолуние погрузить ее в серебряное ведро вместе с мокрыми звездами, или поджарить на сковороде, словно желтую морскую медузу, а ночь в Фессалии черным-черна, и даже люди, меняющие кожу, могут легко ошибиться; все это поистине внушает ужас, но всего этого я страшусь куда меньше, чем вновь встретиться с ливийскими бальзамировщицами в Пустыне цвета крови...»

И слушатели содрогались от страха и с благодарностью взирали на городские стены. Окружавшая их пустыня была полна опасностей, но уж этой ночью они будут спать среди людей, а не в окружении песков и их тайн.

В свои шестнадцать лет, с жадной приключений в сердце и с головой, битком набитой всевозможными историями, аль-Хакум присоединился к каравану, который намеревался пройти через Пылающее Сердце в самом центре Амеи и выйти к морю.

Проводником у них стал Абуль-Бека, человек закаленный, с черным от солнца лицом, иссеченным синими шрамами. Он умело владел и клинком, и копьем и брал за работу десять мешочков соли и два – золота. Кроме того, он мог набирать людей по своему усмотрению, ведь каждый караван, который он вел через пустыню, достигал своей цели. Верблюдов два месяца

перед выходом отпаивали розовой водой и скармливали им роскошные, как зеленые цветы, артишоки.

Абуль-Бека лично наполнил солью семь кошелей, предназначенных в уплату Горному Старцу.

Оставив за спиной Самарру, в безмолвии пустыни – в первый раз за свою жизнь он не слышал пяти ежедневных призывов муэдзина к молитве – аль-Хакум совершил открытие: небо – бесконечное и синее. Ничто не вставало между караванщиками и необъятным пространством – ни пальма, ни купол, ни минарет: в этом вечном лете были только солнце и песок. Позади остались хаммам с клубами пара и прозрачной свежестью бассейнов, нарядные одежды и женщины, которые теперь вспоминались ему как прекрасные животные с плаксивым нравом и нежным телом, питающиеся исключительно сладкими ореховыми лепешками.

После изнурительного дневного перехода – ведь с рассвета каждый купец должен был, помолившись, проверить упряжь и переметные сумы лошадей и верблюдов, накормить их и напоить, сложить просторную палатку, приготовить еду и отправиться в пески, в путь – Абу аль-Хакум с наступлением темноты принимался мечтать.

Сидя перед входом в свою палатку, разбитую на гладкой стороне дюны, он закрывал глаза и чувствовал, как сердце вступает в незнающее границ пространство и как в этом пространстве его охватывает счастливое ощущение: он человек. И пока душа расцветала, тело его закалялось в трудностях и испытаниях походной жизни.

Пред ними в направлении ветра расстилались дюны: так называемые *сифы* – изогнутые, как сабли, подарившие им имя; вокруг вставали высокие рыжеватые конусы, образуемые сталкивавшимися ветрами, – *гурды*. Путники шли через *эрг* – море песка.

Через два месяца после начала путешествия, в заранее назначенный день, их встретили хашиды. Вынырнули из облака золотистой пыли: десять отроков с застывшей – как на лицах темных статуй – улыбкой. На их лошадях сверкали золотые седла, а в гривах реяли на ветру красные шелковые ленты. Абуль-Бека преломил с ними хлеб и вручил выкуп. Хашиды, все так же улыбаясь, распрощались с купцами. Поговаривали, что с той же улыбкой на устах они вырезают сердца своих врагов, ведь живут эти люди в крепости Рашида ад-Дина ас-Синана, Горного Старца, где, пресыщенных гашишем, их наперебой убаживают женщины, так что им абсолютно все равно, где пребывать – в этом мире или в ином.

Тот день ознаменовался их вступлением в Плающее Сердце. До мгновения, когда глаза их узрят море, оставалось шестьдесят дней. Там, на берегу, они купят крупный жемчуг и горошочки с икрой кефали, переложенной морской солью, что ценятся в городах на вес золота.

ДЖИННЫ

Караван остановился в нескольких часах пути от ближайшего оазиса. До наступления темноты оставалось всего ничего, к тому же вокруг простирались базальтовые дюны, сложенные из острых черных камешков, чрезвычайно опасных для верблюдов и коней. Двигаться по таким дюнам можно лишь при свете солнца, так что путники спешили и разбили лагерь. Купцы поужинали и раскурили наргиле. И точно так же, как и в предыдущие вечера, принялись строить планы: как им лучше распорядиться барышами, которые будут получены в конце путешествия, – а потом улеглись спать.

Аль-Хакум спать не пошел, он охранял лагерь. Все воины, проводник Абуль-Бека, да и верблюды спали как убитые, вымотавшись после трудного дневного перехода: люди были вынуждены спешиться и идти несколько часов, стремясь уберечь ноги вьючных животных от порезов.

Несмотря на усталость, спать аль-Хакуму не хотелось, и он вызвался нести стражу первым. Как зачарованный, любовался он узорами звезд, блистающими как никогда в непроглядно-черной ночной мгле пустыни. Обойдя вставший лагерь караван и убедившись, что костер, разведенный в яме, не погас, он растянулся на песке лицом вверх – полюбоваться звездным небом под мерное дыхание спящих верблюдов. Но тут вдруг послышалась мелодичная и довольно громкая трель, словно рулада какой-то птицы, наполнившая собой чистый, как хрусталь, воздух. Никто из его спутников не проснулся. Аль-Хакум попытался их разбудить: пусть и они послушают это пение, пусть порадуются. Но пробудить их ему не удалось: купцы, воины и проводник лежали неподвижно, как безжизненные статуи. Юноша чувствовал, что сам он плывет в каком-то облаке музыки, и это облако властно увлекает его за собой.

Он подошел к Раду, своему коню. Звуки торжествующим гимном стремились ввысь, к самому небу. Рад беспокойно заржал: уши прижаты к голове, грива стоит дыбом. Аль-Хакум с неподвижным взглядом на бесстрастном лице вскочил на коня и изо всех сил ударил пятками по его бокам, прихлопнув рукой по крупу. И всадник галопом умчался из лагеря.

Шло время, а аль-Хакум все скакал и скакал вперед, ведомый пением загадочной ночной птицы. Все, что случится в ту ночь, он будет вспоминать потом как странное смешение часов и минут: каждое колыхание конской гривы на ветру виделось медленным и четким, в малейших деталях, словно плавные движения руки танцовщицы. Но и взмах собственных ресниц казался ему медленным, повторяясь промежутками, в которые луна то появлялась, то вновь скрывалась за тучами. А пейзаж вокруг то изменялся, то вновь оказывался прежним.

Внезапно Рад встал как вкопанный и от ужаса громко заржал.

Аль-Хакум, ничего не понимая, изо всех сил принялся хлестать Рада кожаной плеткой, которая до этого момента, как и всегда, праздно свисала с его пояса, но конь не мог сойти с места. Он начал погружаться в песок, как будто песчаная дюна вдруг превратилась в трясину, – хотя и отчаянно изгибался, пытаясь вытянуть уходящие вниз ноги.

Аль-Хакуму передался страх его коня, и он, содрогнувшись, очнулся наконец от чар. Тяжело дыша, разглядывал он близкие кроваво-алые всполохи: странное красное облако, тяжелое и густое, постепенно обретало контуры. Пред ним выросли три демона, представшие в облике трех мощных великанов, пораженных проказой – их мертвенная кожа была сплошь покрыта струпами. На их распухших, как у мертвецов, лицах, безносых и безгубых, горящими углями сверкали глаза. Зловоние разлагающейся плоти заполнило собой ночь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.